

Литрес ≡ Классика

Федор Сологуб

ДЫМ И ПЕПЕЛ



Федор Сологуб

Дым и пепел

«ЛитРес»

1912

Сологуб Ф. К.

Дым и пепел / Ф. К. Сологуб — «ЛитРес», 1912

Заключительная часть трилогии «Творимая легенда». В финале трилогии судьбы Триродова, королевы Ортруды и её королевства достигают трагической развязки. Социальные потрясения, политические заговоры и мистические силы переплетаются, а попытки героев преобразить мир и воплотить свою легенду сталкиваются с неумолимой реальностью, где от великих надежд остаются лишь дым и пепел..

© Сологуб Ф. К., 1912

© ЛитРес, 1912

Содержание

Дым и пепел	6
Глава семьдесят шестая	6
Глава семьдесят седьмая	11
Глава семьдесят восьмая	15
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Федор Сологуб

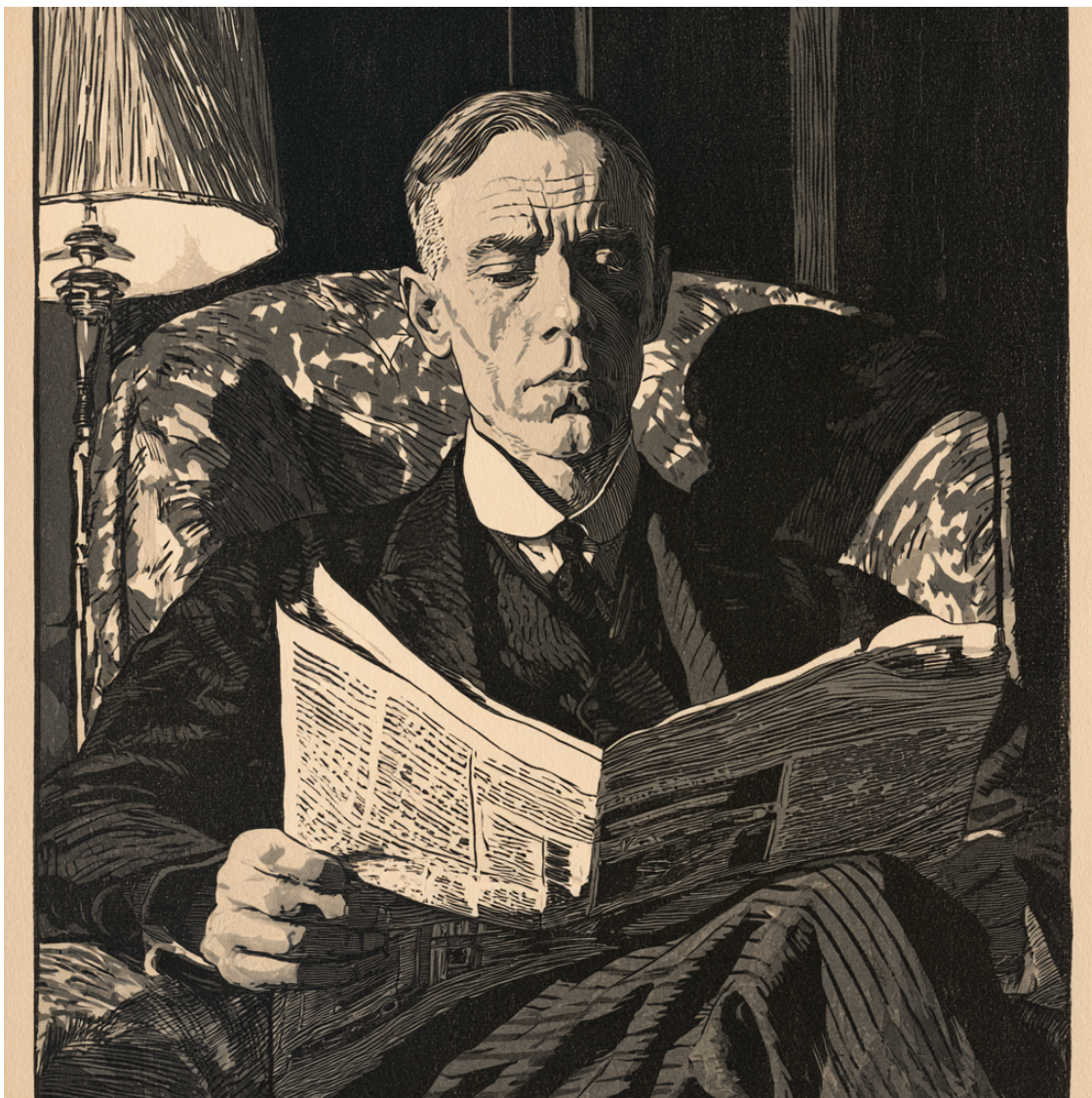
Дым и пепел

Серия «Литрес Классика»

© «Литрес», 2026

Дым и пепел

Глава семьдесят шестая



Триродов с очень большим вниманием читал газетные известия о трагических событиях в королевстве Соединенных Островов. Стал даже выписывать пальмские газеты и книги и потому занялся испанским языком.

Многие мысли приходили к Триродову в это время и мечтания. И порою далеко уносили его эти мечты. Ему рисовалась отчетливо близкая возможность мирного приближения к совершенно иному строю общества.

Роль личности в истории казалась Триродову навсегда и прочно определенной.

Толпа только разрушает. Человек творит. Общество сохраняет.

В толпе разнуздан зверь. Свободно творящий человек ненавидит зверя и умерщвляет его. Общество свободных людей есть колыбель нового человека, который уже не захочет быть ни господином, ни рабом, не захочет приносить жертв ни власти, ни собственности. Он не захочет ограничивать своей и чужой свободы, потому что он поймет до конца великую силу людского

свободного единения. В этих единениях свобода каждого возрастает с возрастанием свободы другого, потому что упразднены аппетиты к власти, свойственные праздному меньшинству. Уже и теперь идеи солидарности становятся все сильнее в жизни людей.

Социалистический строй представлялся Триродову неизбежною ступенью в развитии культурного общества. Триродов думал, что это будет только переходом к синдикализму, а через него к совершенно свободному строю.

Триродов думал, что опыт покажет неизбежность социалистического строя, опыт же покажет и его временную, переходную природу.

Триродов думал, что следует сделать этот опыт. Он думал, что для этого можно воспользоваться государством Островов. Это государство по своей небольшой величине, по своему изолированному островному положению и по некоторым особенностям своей природы и быта казалось Триродову подходящим предметом для эксперимента.

Теперь, когда престол королевства Соединенных Островов стал свободен, заманчива была для Триродова мечта посадить на этот престол человека, чуждого династическим расчетам, человека не из расы принцев. Кто же мог быть этим человеком?

Кто хочет, тот может, – думал Триродов. – Стоит только сильно, по-настоящему хотеть.

И решился Триродов сделать попытку взойти на престол Островов, овладеть наследием королевы Ортруды, к перевитому лаврами терновому венку поэта прибавить таящий в себе такие же терния золотой и алмазами блистающий венец короля.

Надобно было сказать об этом Елисавете. Уже Триродов привык все открывать своей Елисавете, ничего от нее не утаивать, с самого начала посвящать ее во все свои намерения.

Их обоих радовала очень эта доверчивая, наивная близость.

Елисавета и Триродов переживали сладкое и жуткое время. Это были дни всеми признанной и потому немножко смешной узаконенной влюбленности, счастливое и ужасное состояние жениха и невесты. С каждым днем влюбленность их возрастала.

Говоря о своей будущей жизни, Триродов и Елисавета строили прекрасные, широкие, планы. Они хотели свои мечты, желания и убеждения воплотить в жизни и сотворить для себя жизнь прекрасную и свободную.

В этом тусклом, тяжелом городе свободная, прекрасная жизнь представлялась невозможною. Было стремление у обоих уйти. Уйти, как можно дальше, туда, где жизнь складывается по-иному.

Все это было как приближение к наивному раю – раю, которого не было у Триродова в детстве.

Детство Триродова прошло почти безрадостно. Ему казалось порою, что он никогда не был ребенком. Или и навсегда остался он ребенком, – застенчивым, простодушным, погруженным в мечтания свои и в свои затеи.

Вечером Триродов пошел к Елисавете.

Он с легким волнением думал о том, что скажет ему Елисавета. Знал почему-то, что скажет ему Елисавета. Знал почему-то, что она станет с ним спорить. И ему стало досадно.

Это была первая в его отношениях к ней досада. Но милая, родная природа так нежно и так сурово успокаивала его.

Поля и леса были тихи. Запахи их были легки и сладостны. Даже изредка слышный горьковатый запах лесной гари был мил.

Солнце склонялось уже низко. Длинные становились тени. Стволы сосен словно облиты были золотою смолою.

Трава была нежно-мокрая, мягкая, радостная, – милые ласки матери-земли сырой доверчиво открытым ногам человека. В долинах, внизу, вдоль речек и ручейков, туман поднимался, нежен, и радостен, и полупрозрачен. Неясные очертания его напоминали ему о минувшем, о невозвратном. Первая жена нежно вспомнилась. Что бы она ему сказала теперь? Сказала бы:

– Делай, что придумал, воплощай свою мечту.

Недалеко от дома Рамеевых, на лесной, по вечернему теплой лужайке Триродов встретил Елисавету. Она шла одна. Ее синие глаза были радостны, ее босые ноги радовались росам влажных трав.

Они говорили. Как всегда, о многом, о разном.

Заговорил наконец Триродов и о смерти королевы Ортруды.

Елисавета грустно и кротко жалела погибшую королеву. А Триродова так увлекали его замыслы, что нежной жалости не было места в его сердце. Он говорил о том, что будет, о возможностях политической и общественной жизни там, среди счастливой природы Островов.

Широкие перспективы рисовал Триродов. Он сказал:

– Король может сделать многое в этой счастливой стране.

Елисавета возразила:

– Да, если выберут настоящего человека.

– Выберут меня, – сказал Триродов.

Елисавета с удивлением посмотрела на него. Спросила:

– Тебя? Почему?

Триродов, улыбаясь ее удивлению, отвечал:

– Только потому, что я этого хочу. Я решился выступить кандидатом на престол этого королевства.

Как ни необыкновенно было то, что говорил Триродов, но Елисавета ни на одну минуту не остановилась на мысли о том, что это невозможно. Почему-то уже привыкла она верить в силы и в волю Триродова, – и если он чего-нибудь захочет, то почему же этому и не сбыться? Но самое намерение это ей не понравилось. Она заспорила.

– Какая странная, неожиданная мысль! – говорила она. – Зачем тебе это?

Триродов сказал:

– Я этого хочу. Разве это не достаточный мотив? И все то, что я думаю о будущем человечества, о его завтрашнем дне, оправдывает мою решимость идти к источникам власти, чтобы сделать попытку хоть сколько-нибудь ускорить неизбежное течение событий. Поступая так, я не самовольничаю, – я сливаю свою волю с волею множеств и с Единою миродержавною Волею.

Елисавета говорила:

– А здесь, в России, разве мало дела? Так все неустроено вокруг нас, и народ дичает быстро в диких условиях злой, безумной жизни.

Триродов возражал:

– Пойми, Елисавета, что там более готова почва, и там полезнее будут люди, как я, наклонные к мечтам и утопиям, страстно пожелавшие мечту претворить в действительность. Все, что в жизни прекрасно, становилось действительным через мечту и через волевое напряжение. Судьба дает мне в руки могучий рычаг, и я должен за него схватиться.

Елисавета сказала:

– У власти там должен стать пролетариат.

– Да, – сказал Триродов, – но теперь у власти могли бы стать только интеллигентные вожаки пролетариата, сочувственники, не вышедшие из рабочей среды, а потому и мало ее понимающие. А я по моим душевным устремлениям, отчасти и по моему происхождению и воспитанию – истинный пролетарий. Так случайно, что у меня деньги есть.

Елисавета спросила:

– Но и ты – чужой для них всех. В лучшем случае ты будешь только бесполезным сочувственником.

Триродов упрямо говорил:

– Судьба влечет меня. Я хочу быть королем. И я буду им. Хотя бы уже для того, чтобы не выбрали Танкреда. Чтобы преодолеть, победить, сделать по-своему, над миром случайностей вознести знак моей воли. Чтобы расширять жизнь, умножать ее.

Елисавета повторила свой вопрос:

– Но тебе-то самому зачем нужна эта корона?

Триродов сказал улыбаясь:

– Кому же и носить венцы, как не поэтам!

Елисавета сказала тихо и так уверенно, как будто это был приговор судьбы:

– Это – невозможно.

Казалось, что Елисавета одарена жестоким предвидением Кассандры, что невозможность его замысла видна ей.

Триродов сказал решительно:

– Я должен царствовать! Тот, кто знает верный путь, должен быть увенчан.

Елисавета говорила:

– Это заблуждение. Меня пугает узость этой мысли.

– Да, – сказал Триродов, – пусть это и заблуждение, и узость мысли. Но и то заблуждение, что я живу здесь, томлюсь в этом пределе, словом, что я – Георгий Триродов. И в этом еще большее, на мой взгляд, заблуждение.

Елисавета спросила:

– Почему?

– Потому, – говорил Триродов, – что прикованность вселенского самосознания к такой ничтожной точке поистине ужасна.

Он говорил долго и страстно.

Наконец Елисавета была полуубеждена. Она сказала нерешительно:

– Конечно, я понимаю, что можно сделать и этот опыт.

И потом, более решительно и смело, она сказала:

– Я буду с тобою везде, куда ты пойдешь, и никогда тебя не оставлю.

Елисавета обняла Триродова и прижалась головою к его, груди. Он целовал ее и ласкал, но ему было грустно. Он видел, что и полусогласие Елисаветы ненадежно, что многие еще будут между ними споры. А споры были для него тягостны.

Равнодушие Елисаветы было горько Триродову. Обезволивало его.

Был узел противоречий в том, что Елисавета – его невеста.

Елисавета сказала:

– Как странно, что ты этого хочешь! Ведь ты же не ищешь славы?

Триродов с удивлением посмотрел на Елисавету. Этот порядок мыслей теперь был для него совершенно чужд. Он переспросил:

– Славы? Зачем же мне слава?

Елисавета покраснела почему-то и сказала нерешительно:

– Слава влечет к себе многих. Должно быть, в ней есть какой-то сильный соблазн.

Триродов говорил досадливо:

– А кто славен? Певица кабацких песен, сладкий тенор, претенциозный романист, человек, сделавший крупный скандал, человек, создавший вокруг себя удачливую рекламу. Чего она стоит, эта слава, вырванная у тупой, злой толпы! С каким злорадством ловят люди вести о каждом неловком шаге того, кто вознесен ими! и как они грызут и травят вознесенного, когда пошатнется его утлый пьедестал! Нет, мне славы не надо.

Тихо сказала Елисавета:

– Есть чистая слава.

Но мечтательная кротость ее синих глаз говорила, что Елисавета думает теперь о чем-то ином.

Триродов видел, что Елисавету больше занимают мысли о их будущей жизни вдвоем, чем об его внезапных планах. Он спросил:

– Ну, что у вас дома?

Елисавета сказала тихо и радостно:

– Я сегодня опять разговаривала с Петром об Елене, и довольно долго. Потом с Еленой мы говорили о нем.

Триродов спросил:

– И что же он?

С улыбкою тихой грусти сказала Елисавета:

– Петр не может простить мне мою невольную измену. Но теперь он очень увлечен Еленой. У него более ясное настроение. И Елена рада очень. Когда я уходила, я хотела позвать ее с собою. Но она разговаривала с Петром. И мне кажется, что этот разговор будет для них обоих значительным.

Триродов сказал:

– Они будут счастливы.

Он улыбался. В его мечтах быстро пробежали картины приличного счастья буржуазной четы.

Елисавета говорила:

– Но здесь ему все-таки тяжело. Он собирается уехать. Летом хочет проехать по Норвегии и по Англии, а зимою поселиться в Петербурге.

Триродов спросил:

– А как же Елена?

Ему казалось, что Елена не может оставаться одна, не прилепившись к кому-нибудь, – только женщина, только чья-то дочь, сестра, жена, мать.

Елисавета ответила:

– Я думаю, что ей тоже хочется с ним уехать.

Помолчав немного, она сказала, словно угадывая, что думает Триродов, – может быть, потому угадывая, что он пристально смотрел на нее:

– Конечно, Елена не может оставаться одна. Ей всегда надо опираться на кого-нибудь.

Триродов и Елисавета дошли до ограды рамеевского сада. Здесь они простились нежным поцелуем, долгим, долгим, и расстались.

Туманные дали немого мира перед Триродовым томились, томя, тая свои несказанные думы.

Триродов шел домой и думал:

«Как о том, чего нет, думает Елисавета о моем замысле. Почему?

Может быть, королева Ортруда – только мой сон?»

На душе Триродова опять стало тяжело и темно. Лицо его стало пасмурно и грустно. Но усилием воли он победил грусть и вернул себя к радости мечты и побеждающей немоте мира воли.

Опять мечты его стали радостными, и яркими, и торжествующими над пространствами и временами.

И точно кто близкий сказал ему:

– Во что бы то ни стало!

Глава семьдесят седьмая

Когда на траве весело-росистой и ласково-прохладной Елисавета и Триродов шли тихо и говорили о наследии королевы Ортруды, – в это время в далекой беседке рамеевского сада под тенью кленов над обрывом реки сидели Елена и Петр. Они глядели влюбленными глазами на ало горящее небо заката, слушали тонкий писк быстро пролетающих над ними в небе птиц и говорили о своем.

Петр и Елена в последние дни очень сошлись. Между ними обнаружилось большое сходство во взглядах, настроениях, во всей их духовной атмосфере. Им было легко и приятно, когда они оставались вдвоем. Всегда у них находились неистощимые темы для разговора. Даже неловкости не было молчать, глядя друг на друга, улыбаясь чему-то своему, должно быть, очень милому, что поется в душе, словами не сказавшись.

Петр почему-то еще не решался признаться самому себе, что уже он полюбил милую Елену. Странная гордость, неумная досада все еще кипели в нем, и уже ненужная, уже мертвая ревность все еще томила его. Он стыдился понять и признать, что его чувство к Елисавете не было глубоким и роковым и что оно легко уступит место новой легкой влюбленности, которой предстоит та же случайная судьба, – или укрепиться навсегда в узаконенном союзе, или растаять легким дымом, если не будут заказаны золотые кольца с нарезанными именами.

Петру казалось, что из его положения возможен только один исход – уехать подальше, рассеяться, в ярких, шумных переживаниях иной жизни в иных местах потерять память обо всем, что здесь так больно и так сладостно переживалось им.

Легкое качание быстрых морских пароходов, волны каждое утро новых вод, но снова и снова и вечно те же – берега задумчивой, прекрасной Норвегии, ее светлые дожди, ее тихие городки в глубине извилистых фиордов и на ее севере солнце багровое светлой июньской полуночи, – и потом шумные города Англии, ее зеленые поля и веселые перелески, черный дым и гулкий грохот ее фабрик, и тишина ее воскресений, – и многое иное, утешительный калейдоскоп дорожных впечатлений и встреч с теми, кого никогда уже не увидишь, – потом Петербург, осень, работа со свежими силами и с бодрым духом, разнообразные интересы сезона, – все это уже несколько дней предчувственно жило в его душе и манило его радостною надеждою забвения.

Сегодня утром рано Петр пришел в кабинет к Рамееву и рассказал ему, что собирается уехать. Долго, неясно и сбивчиво говорил Петр о своих огорчениях и еще больше о том, куда поедет, что там увидит и как это на него подействует. Говорил так, словно в душе его диковинною четою сошлись и мирно беседовали пылкий отвергнутый любовник и расчетливый буржуа, озабоченный состоянием своего здоровья и тщательно обсуждающий вопросы своего питания и комфорта.

Рамеев выслушал Петра внимательно и спорить с ним не стал. Думал Рамеев, что будет, пожалуй, лучше и для самого Петра, и для других, если он немного проветрится.

Только одно сказал Рамеев Петру, когда уже Петр встал уходить:

– Ну, а Елене ты уж это сам скажи.

Петр сумрачно ответил:

– И скажу.

И сам удивился, зачем придал этому ответу такое выражение, словно хотел сказать, что скажет, не побоится.

Да, вот скажет, не побоится, – однако целый день прошел, и не случилось сказать. И вот вечером они сидят одни и говорят. От реки веет прохлады, очаровательно синеют и дымятся дали, – все тихо.

И видит Петр, что уже теперь надобно рассказать о своих планах Елене, нельзя дольше медлить и скрывать.

Петр думал сначала, что это выйдет очень просто, – подойдет он как-нибудь к Елене и скажет ей:

– На днях я уеду.

Елена удивится, спросит:

– Куда?

Он расскажет. Она поймет, что так надо, что Петр не может оставаться здесь после всего случившегося.

Но каждый раз, как Петр подходил к Елене, он чувствовал странную, тягостную неловкость.

Поймет ли Елена, что так надо? А может быть, опечалится Елена? Или даже заплачет?

Петр представлял себе, как Елена плачет тихонько, стыдливо закрываясь руками и не жалуясь ни на что, – и неловко ему становилось. Жалко было милую Елену.

Оказалось, что совсем не так просто и легко рассказать. Рассказал даже Елисавете сначала, в тайной надежде, что она передаст Елене.

Елисавета спросила:

– А Елене ты еще не говорил?

Пришлось сказать:

– Нет, еще не было случая.

Елисавета улыбнулась. Покачала головою. Сказала тихо:

– Как же, скажи уж и ей. Она тебя очень любит. Ей будет обидно узнать о твоём решении от других.

Петр хмуро спросил:

– Что ж тут для нее обидного?

Елисавета повторила:

– Она тебя любит.

Петр хотел было прямо попросить Елисавету, чтобы она все-таки взяла на себя передать это известие Елене. Но, пока думал, как бы убедительнее это сказать, уже Елисавета ушла. Надо, надо сказать Елене.

Петр подходил к этому с разных сторон. Он начал с намеков и недомолвок.

Сначала Елена не понимала всех этих обиняков. Но наконец стала она догадываться, что Петр хочет сказать ей что-то неприятное.

Елена испугалась. Притихла вдруг. Смотрела на Петра глазами оробелого ребенка. Улыбка поблекла на ее алых губах. В углах ее рта затаилось легкое дрожание.

Теперь почему-то Петру необходимость уехать отсюда уже не казалась такою очевидною. Он перебирал свои доводы, и каждый казался ему сомнительным.

Петру стало досадно. Он подумал, что воля должна преобладать над внушениями робкого и всегда колеблющегося рассудка.

Ведь он же решился! Нельзя же брать свое решение назад только потому, что приходят минуты слабости и сомнений! Только потому, что простодушной девочке, которую он развлекал своею болтовнёю, будет без него несколько дней не так весело. И если даже она поплачет, то ведь это все же не так значительно, чтобы из-за этого отменять свои решения.

Нет, надо быть твердым. Нельзя жалости давать такую власть над своим сердцем и над своею волею. Надо сразу оборвать эту липкую паутину сожалений и сочувствий, чтобы не запутаться в ней окончательно.

Петр собрал все свое мужество. Притворно-веселым голосом принялся он рассказывать Елене о своих планах.

Елена слушала Петра молча. Ее молчание подвешивало тяжелые грузики к каждому его слову. Заговорил-то он оживленно и быстро, а потом все медленнее шла речь. Как-то трудно слово за словом выговаривалось.

Петр замолчал. Смущенно крутил он в пальцах папироску, но не закуривал ее.

Елена отвернулась и низко наклонила голову. Петр бросил на Елену сбоку быстрый взгляд. Ее уши и щеки ярко рдели.

Петр осторожно принагнулся к ее лицу. Елена плакала. Петр почувствовал, как сердце его дрогнуло.

Петру стало радостно и грустно. Он обнял Елену за плечи и спросил:

– О чем же ты плачешь, милая Елена?

Всхлипывая по-детски, по-детски вытирая слезы ладонями слегка загорелых рук и лицо пряча в тени клена, Елена сказала:

– Противный какой! Зачем же ты едешь? Другого времени не нашел, как теперь.

Петр сказал:

– Так что ж! Отчего же мне и не поехать? Я увижу много нового и интересного.

Елена прошептала:

– А я как же?

Петр растерянно сказал:

– А ты? А что ты?

Тихо сказала Елена:

– Я тебя люблю.

И заплакала еще сильнее.

Еще радостнее стал Петр. На смущенном лице его была радость и смятение быстрых улыбок. Радость ярко пела в его душе, когда он весело говорил:

– Милая Елена, да ведь об этом не плачут.

Елена сказала горестно:

– Нет, плачут. Плачут глупые девочки, которые любят и которых никто не любит.

Петр спросил:

– Кого же это никто не любит? Ведь и я тебя люблю, Елена.

Елена тихонько вскрикнула, засмеялась, заравовалась, охватила шею Петра быстрыми, горячими руками, голыми, стройными, и целовала его лицо, орошая его забавными слезинками. Она говорила:

– Как же ты один поедешь, противный!

Петр ответил весело:

– Так и поеду. Возьму чемодан и поеду.

Елена спрашивала:

– А тебе будет скучно без меня? Или ты меня позабудешь? разлюбишь? Будешь веселиться с другими девчонками?

Петр говорил смеясь:

– Не позабуду. Не разлюблю. Буду скучать и плакать.

Елена воскликнула с радостным укором:

– Ну, какой ты! Смеешься! Хочешь от меня отделаться? Так вот же, – и я поеду с тобою.

И пожалуйста, не спорь.

Петр весело говорил:

– Хорошо, если тебя дядя отпустит, так в Норвегию и в Англию я тебя возьму, уж так и быть. А осенью сюда привезу.

Елена настаивала:

– Нет, я и в Петербург с тобою поеду.

Петр спросил:

– А что ты будешь делать в Петербурге?

Елена с легким вздохом сказала:

– Учиться. Дело известное, – поступлю на какие-нибудь скучноватые курсы и буду прилежно изучать филологию. Правда, прилежно.

Глава семьдесят восьмая

Ночь была опять с Триродовым, – спокойная, мудрая подруга, покровительница одиноких, неторопливых дум.

Один Триродов сидел у себя за большим письменным столом в своем кабинете. Он долго думал о своем замысле. И наконец решился приступить к его исполнению.

Триродов взял большой лист синей, плотной почтовой бумаги. Уже не было колебаний в уме Триродова. Сердце его билось спокойно, как всегда. Как всегда, стройно и спокойно разворачивались его мысли.

Триродов писал первому министру королевства Соединенных Островов о своем желании выступить кандидатом на вакантный престол королевства.

Внимательно и долго обдумывал Триродов мотивы своего выступления. Он писал, не торопясь, всю ночь. Несколько раз переписывал свое письмо. Почему-то приятен был Триродову легкий, стройный звон французских фраз.

Настало утро, легкое, благоуханное, росистое. В открытые окна кабинета повеяло раннею, свежелою радостью. Свет электрических свеч побледнел в розовеющем быстро очаровании зари. В саду и в вышине поднялся ликующий птичий щебет и гомон.

Триродов сам пошел в почтовую контору, в город. Шел легко и быстро, обгоняя неторопливые по дороге серые телеги со спящими мужиками и румяно-хмурыми рабами, везущими в город на продажу свой нехитрый товар. Телеги громыхали, подымая облака серой, сорной пыли. Лошади, лениво ступая, косили умные глаза на перегонявшего их человека в светлой одежде. Пахло дегтем и гарью.

В городе, около лавок и на базарах, уже толпились и шумели кухарки и хозяйки, переноса с места на место вороха пыли и груды тусклых слов.

В почтовой конторе, как всегда, пахло противно. Было душно, накурено, наплевано, насолено. Люди стояли все больше грязные, оборванные. У нескольких окошечек стояло по длинному хвосту, и в каждом хвосте шипело много злости и нетерпения.

Наконец и Триродов добрался до окошечка и подал свое письмо.

Чиновник, подслеповатый, вялый молодой человек, долго и внимательно рассматривал конверт. Потом стал перелистывать какую-то трепаную справочную книжонку.

Триродов нетерпеливо спросил:

– Ну что же? В чем дело? Я и так здесь долго стою.

Чиновник нерешительно сказал:

– Не знаю, можно ли принять.

Триродов спросил с удивлением:

– Да почему же может быть нельзя?

Чиновник вялым, тягучим голосом говорил:

– Да не знаю. Как-то не приходилось никогда к таким лицам. Да вы с ним знакомы?

Триродов сказал с досадою:

– Еще бы, закадычные друзья! Да вам-то какое дело?

Чиновник спросил:

– Это у вас деловое письмо? По делу то есть, я спрашиваю?

Триродов сказал:

– А этого вам не надо знать.

Чиновничек долго еще сомневался, вертел конверт, ворчал что-то.

В хвосте роптали.

Сидевшая за окошечком рядом маленькая, полненькая девушка с веселыми, карими глазами улыбнулась, углубляя на своих щеках забавные ямочки, и посоветовала чиновнику:

– Да вы спросите у Никифора Петровича. Он, верно, знает. – Триродов смотрел на нее и думал, что много веселости надо иметь в душе для улыбочности в этом тусклом, сорном и зловонном месте. Или уж очень привыкла?

Чиновничек жалобным голосом позвал:

– Никифор Петрович, взгляните, пожалуйста, можно ли принять.

Подошел другой чиновник, постарше, внимательно оглядел конверт, посмотрел из-под очков, вскинув их на лоб, на Триродова и авторитетно решил:

– Конечно, можно.

В тот же день Триродов написал и послал еще несколько писем в Пальму.

День кончался, знойный, душный. С раннего утра на горизонте лежали мглисто-лиловые тучи. За далеким синим лесом бегло и странно вспыхивали молчаливые, бледно-голубые зарницы. Мгла синела на дне ярко-зеленых долин. Над черными и желтыми полями тянулись горьковато-сладкие, дымные запахи.

Уже близко к закату было солнце, когда пролились потоки дождя и гроза пронеслась над вершинами триродовского сада. Потом тишина легла на долины, и невозмутимая в небесах настала ясность.

Триродов был один. Он сидел запершись в своем кабинете. Не хотел никого видеть. Только ждал Ее, в том или ином облике проходящую, ту, истинного имени которой он не знал. Да и кто знает Ее таинственное имя?

Триродов любил быть один. Даже томления темного одиночества вкрадчиво прельщали его. Даже истомные, горькие сожаления и печали одиноких часов были ему иногда сладостны несказанно. То были печали, более сладостные, чем шумная радость земная, дневная, обычная.

Теперь, в тишине замкнутого покоя, странное чувство ожидания томило Триродова. В чем была радость обещания, еще не знал он, – но ждал нетерпеливо. Когда гроза пронеслась, и молнии отблестали за высокими окнами, и громы отгремели в вышине над кровлею, и отшумели в саду потоки дождевые, знал Триродов, что теперь скоро придет Она. Знал, что Она любит ясность и тишину после гроз.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.